



**Григорий Иванович (Гиго Батчериевич) ДЗАСОХОВ** (14 августа 1880 года, село Георгиевско-Осетинское – 18 октября 1918 год, там же) – осетинский революционный и общественный деятель, публицист и педагог. Один из основоположников литературно-критического и критико-биографического жанров в осетинской литературе. Автор первого критико-биографического очерка о Коста Хетагурове, литературно-критических статей о творчестве Н.А. Некрасова, А.П. Чехова, М. Горького и идейных течениях в русской литературе начала XX века.

Вниманию читателя предлагается текст одной из публичных лекций, с которыми Дзасохов выступал в Азове весной и летом 1910 г. Проблема, рассмотренная Дзасоховым, занимала в свое время В. Соловьева, Л. Шестова, Н. Бердяева и др. мыслителей и до сих пор остается на философско-гуманитарной повестке дня, потому что касается главных дилемм нравственной истории человечества.

## Г.И. Дзасохов ДОСТОЕВСКИЙ И НИЦШЕ

(Лекция, читанная в пользу недостаточных воспитанниц  
из оканчивающих Азовскую женскую гимназию)  
(в сокращении)

Для многих сопоставление нашего знаменитого писателя Достоевского с популярным философом Ницше может показаться несколько странным и, пожалуй, даже натянутым и фальшивым. Что может быть общего между этими двумя писателями, диаметрально расходящимися в своих конечных выводах касательно вопросов о смысле и цели человеческой жизни, о нравственных идеалах человека, о значении христианства в истории культуры и т. д.?

Один является страстным защитником и проповедником христианской любви и личного самоотречения в пользу служения ближним. Он благоговейно преклоняется и перед евангельским учением и перед высокими идеалами русского православия. Для него ненавистно всякое проявление эгоизма, в котором он видит признак отрицания высшей культуры.

Напротив, другой с какою-то самодовольною гордостью называет себя антихристом и полагает задачу своей литературной деятельности в коренном разрушении всех тех нравственных ценностей, которые были установлены христианством. Ницше злобно издевается над евангельским учением о кротости, милосердии, самопожертвовании за других и т. д. Мало того, он видит в этом учении основную причину духовного и физического вырождения современных поколений. По его мнению, христианская благотворительность и сострадание только плодят больных и слабых людей, которые без посторонней поддержки скоро погибнут бы в борьбе за существование и таким образом расчистили бы почву для высшей породы людей, сильных

своим телом и «волею к власти».

Таким образом, ярый противник христианства Ницше почти во всех пунктах своих воззрений является совершенным антиподом Достоевского христианина. До сих пор обращали внимание, главным образом, на родство, замечаемое между взглядами Ницше и Толстого. Трудно указать как в заграничной, так и в русской литературе такое исследование о Ницше, в котором не было бы уделено хотя несколько строк сопоставлению немецкого философа с Толстым. Это и понятно, можно ли уклониться от такого сопоставления, когда оба этих писателя самым решительным образом отрицают почти весь строй современной культурной жизни? Но Достоевский и Ницше — что может быть здесь родственного и общего?

Да, Достоевский и Ницше в полном смысле слова противоположности, и, однако, мы осмеливаемся утверждать, что Достоевский в своих произведениях выразил всю философию Ницше, по крайней мере в самых основных и существенных ее пунктах. Дело только в том, что антихристианское мировоззрение, сродное с ницшеанским, не поработило всецело Достоевского. Оно было для него лишь одною из переходных ступеней в образовании его глубокохристианской философии. Может быть, он, как и Ницше, мучился теми же сомнениями, останавливался на тех же дерзких до преступности мыслях, так же подходил к отрицанию всяких моральных ценностей, основанных на христианском сострадании, но закончил не закреплением этого отрицания, а выработкой светлого, возвышенного и неизмеримо плодотворного по своим результатам

миросозерцания. Весь этот процесс перехода от сомнений и отрицаний к проповеди безграничного величия и мощной силы христианской любви он и изобразил в своих произведениях, и именно в тех отрицательных и несимпатичных для него самого типах, которые он считал болезненным порождением большого века.

(...) Достоевский предугадал философию Ницше в то время, когда тот совсем еще не выступал в печати, предугадал на основании только глубокого проникновения в смысл и последствия того направления мысли, которое зародилось и развилось на его глазах. Намеки на ницшеанские идеи мы встречаем уже в «Записках из подполья», появившихся в печати в 1846 году.

Эти записки и по внешней форме несколько напоминают манеру писания Ницше. По существу это ряд афоризмов или даже парадоксов, идущих большею частью вразрез с обычными представлениями; только здесь больше юмора и злой иронии, чем у Ницше.

Обитатель подполья, отставной коллежский асессор, до мозга костей пропитанный скептицизмом и озлобленный против всех и всего, как бы переворачивает вверх дном установившиеся представления о жизни и человеке. Это страшный эгоист, думающий и говорящий только о себе. Он мнителен и обидчив, по собственному признанию, как горбун или карлик. Завидуя всем, он готов всякое достоинство человека превратить в порок. Ум человека для него скорей признак ненормальности и слабости. «Умный человек, – говорит он, – не может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак. Да-с, человек XIX столетия должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным. Человек же с характером, деятель – существо по преимуществу ограниченное». «Непосредственного человека, который, как бык, прямо прет к цели и умеет прямо постоять за себя, я и считаю настоящим, нормальным человеком, каким хотела его видеть сама нежная мать природа, любезно зарождающая его на земле. Я такому человеку до крайней желчи завидую. Он глуп, я в этом с вами не спорю. Почему вы знаете? Может быть, это даже очень красиво».

Нужно сознаться, что это очень похоже на ницшеанскую похвалу глупости. Обитатель подполья подвергает сомнению и то значение современной цивилизации, которое ей обыкновенно приписывается: он даже склонен думать, что в конце концов цивилизация может привить человеку даже наслаждение кровью. «Бокль, – говорит он, – утверждает, что от цивилизации человек смягчается, следовательно, становится менее кровожаден и менее способен к войне. По логике-то у него, кажется, и выходит так. Но оглянитесь кругом: кровь рекою льется, да еще развеселым таким образом, точно шампанское. Вот вам и Наполеон великий и теперешний. Вот вам Северная Америка – вечный союз. И что такое смягчает в нас цивилизация? Она выработывает в человеке только многосторонность

ощущений и... решительно ничего более. А чрез развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение. Ведь это уже и случилось с ним. Замечали ли вы, что самые утонченные кровопролильцы почти сплошь были самые цивилизованные господа, которым эти разные все Атиллы да Стеньки Разины иной раз в подметки не годились? По крайней мере от цивилизации человек стал, если не более кровожаден, то уже наверно хуже даже кровожаден, чем прежде».

Разве здесь не слышится намек на ницшеанские мечты о будущей человеческой культуре? Только здесь во всем сквозит ирония, а Ницше самым серьезным образом уверяет, что кровожадность есть одно из проявлений высшего человеческого типа.

В «Записках из подполья» вы найдете мысли и о том, что собственная мука может доставлять человеку наслаждение, что для него часто приятно не только видеть страдание других, но и причинять эти страдания.

Но гораздо подробнее и систематичнее развиты ницшеанские воззрения в знаменитом романе Достоевского «Преступление и наказание». Герой этого романа Раскольников, бедный студент университета, убил старуху процентщицу не по преступному направлению своей воли, а в силу известной моральной теории, известных взглядов на нравственные задачи жизни. А сущность этой теории заключается в следующем (постараюсь излагать словами самого Раскольникова): «Люди по закону природы разделяются, вообще, на два разряда: на низший (обыкновенных), т. е., так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей, т. е. имеющих дар или талант сказать в своей среде новое слово.

Первый разряд, т. е. материал, – люди по натуре своей консервативные, чинные, живут в послушании и любят быть послушными, они и обязаны быть послушными, потому что это их назначение. Второй разряд – это преступники, разрушители или склонные к тому, смотря по способностям. Если ему надо для своей идеи перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя, по совести, может дать себе разрешение перешагнуть через кровь.

Если бы Кеплеровы и Ньютоновы открытия, вследствие каких-нибудь комбинаций, никоим образом не могли стать известными людям иначе, как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста и так далее человек, мешавших этому открытию, то Ньютон имел бы право и даже был бы обязан устранить этих десять или сто человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству.

Все законодатели и установители человечества, начиная с древнейших, продолжая Ликургами, Соломонами, Магометами, Наполеонами и т. д., все до единого были преступниками уже тем одним, что, давая новый закон, тем самым нарушали древний, свято чтимый обществом и от отцов перешедший, и уж конечно не останавливались перед кровью, если

только кровь (иногда совсем невинная и доблестно пролитая за древний закон) могла им помочь.

Замечательно даже, что большая часть этих благодетелей и установителей человечества были особенно страшные кровопролильцы. Если бы у Наполеона не было ничего, чтобы карьеру начать, ни Тулона, ни Египта, ни перехода через Мон-Блан, а была бы вместо этих всех красивых и монументальных вещей, просто-напросто, одна какая-нибудь смешная старушонка, которую еще вдобавок надо убить, чтоб из сундука у ней деньги стащить (для карьеры-то), то его не только не покорило бы, но он даже не понял бы, чего тут коробиться? И уж если бы только не было ему другой дороги, то задушил бы так, что и пикнуть бы не дал, без всякой задумчивости.

Наполеон – вот настоящий властелин. Ему все разрешается: он громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона людей в Московском походе и отделяется каламбуром в Вильне; и ему до смерти ставят кумиры, а стало быть и все разрешается».

Такова чисто ницшеанская теория Раскольникова о воле к власти. Исходя из этой теории, он соблазнился мыслию: «Как же это ни единый не посмел и не смеет, проходя мимо этой нелепости, взять просто запросто все за хвост и стряхнуть к черту». И ему показалось, что убить зловедную старуху процентщицу все равно, что раздавить, по его словам, мокрицу или убить вошь. И он убил старуху и себя и свое право на жизнь.

Другой тип чистого ницшеанца мы встречаем у Достоевского в лице Ивана Карамазова. Страшный скептик и отрицатель, с некоторым презрением относящийся к окружающей его среде, где он видит только убогую посредственность, Иван Карамазов стоит на границе полного отрицания всех религиозных и моральных идеалов. Он готов, пожалуй, покончить всякие счеты с принципами любви и милосердия, чтобы положить новое начало новой жизни на земле. Но для этого нужно, по его мнению, прежде всего и навсегда устранить веру в бога и бессмертие. «Уничтожьте, – говорит он, – в человечестве эту веру, тогда в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того, тогда уже ничего не будет безнравственного, все будет позволено. Но и это мало, для каждого чистого лица, не верующего ни в бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему религиозному, и эгоизм, даже злодейство, не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и, пожалуй, благороднейшим исходом в его положении».

Но так как, ввиду глупости человеческой, новый порядок, пожалуй, еще и в тысячу лет не устроится, то всякому, сознающему и теперь истину, позволительно и теперь устроиться совершенно как ему угодно на новых началах. В этом смысле ему все позволено...

Если бы я не предупредил, что приведенные воззрения заимствованы из сочинений Достоевского, то вы бы имели полное право подумать, что это выдержка из сочинений Ницше. Здесь так полно выражен принцип воли к власти, так резко отмечена генетическая связь между атеизмом и имморализмом сверхчеловека или человека бога, так ясно высказан принцип ассасинов «все позволено», что мы имеем полное основание назвать Ивана Карамазова настоящим прототипом Ницше.

И в «Бесах» есть ницшеанский тип, это Алексей Нилыч Кириллов, который «совсем отвергает нравственность и держится новейшего принципа всеобщего разрушения для добрых окончательных целей». Он также мечтает о новом типе человека, новом не в духовном только смысле, но и в физическом. Это будет совершенно новая порода живых существ, которые возвысятся до бога.

Чтобы достигнуть величия, нужно только освободиться от страха смерти и боли. «Вся свобода будет тогда, – говорит Кириллов, – когда будет все равно жить или не жить. Теперь человек еще не тот человек. Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек. Кто победит боль и страх, тот сам бог будет. А тот бог не будет. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, все новое. Тогда историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения бога, и от уничтожения бога до перемены земли и человека физически. Будет богом человек и переменится физически. И мир переменится, и мысли, и все чувства».

Проповедуя самоубийство, как путь к победе над страхом смерти, Кириллов вовсе не думает оправдывать мрачный пессимизм и обесценивать жизнь, отдавая предпочтение небытию пред бытием. Своей странной философией он хочет напротив возвысить ценность и значение жизни и указать человеку путь к величию. «Теперь всякий, – говорит он, – может сделать, что бога не будет и ничего не будет. Кто убьет себя только для того, чтобы страх убить, тот тотчас богом станет».

Замечательно, что даже теория Ницше о вечном возвращении жизни в более или менее определенных чертах выражена у Достоевского. Помните адскую легенду, рассказанную Ивану Карамазову его двойником? Либеральный мыслитель был осужден пройти во мраке квадриллионы километров, на что потребовалось приблизительно около миллиона лет. На вопрос Карамазова, откуда могли взяться эти миллионы лет, двойник объяснил: «Да ты ведь думаешь про нашу теперешнюю землю. Да ведь теперешняя земля, может, сама по миллион раз повторилась; ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять – вода я же бе над твердью, потом опять комета, опять солнце, опять из солнца земля – ведь это развитие, может, уже бесконечно раз повторилось все в одном и том же виде, до черточки. Скучища неприличнейшая...»

Для ницшеанского круговорота мирового движе-

ния у Достоевского есть даже особый термин «цикл времен».

Повторяем, что отрицательные типы Достоевского Раскольников и Карамазов с их имморальными взглядами, может быть, совсем не были вдохновителями Ницше, который явился только крайним выразителем отрицательных идей нашего времени, столь беспринципного, так далеко стоящего от точного и определенного решения вечных вопросов о смысле жизни и конечном назначении человека. Но тем поразительнее предвидение Достоевского. Он как бы воочию созерцал будущее, был как бы ясновидцем тех печальных результатов, к которым должно прийти будущее поколение в случае отречения от идеалов веры, правды и любви.

Но Достоевский не только предугадал зарождение ницшеанства, он дал и глубоко правдивый ответ на все запросы восстающего против бога и его правды ума. Он говорит, что все эти преступные мечты о будущем человекобоге, для которого не существует никакого закона, кроме собственного своеволия, есть печальный плод одностороннего направления мысли, всецело приковавшийся к земле, к материи, к видимости и отрешившийся от всех духовных интересов, которые открываются в христианстве.

Достоевский никак не мог понять тех аристократических тенденций, по которым вся жизнь принадлежит только редким и исключительным избранникам. Защитник униженных и оскорбленных, он желал, чтобы и эти униженные имели свою долю радости и счастья в жизни. «Я никогда не мог понять мысли, – писал он в своем «Дневнике писателя», – что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или сколько их там находится) будут все когда-нибудь образованны, очеловечены и счастливы».

Ницше с ненавистью относится к христианству потому, что будто оно обесценивает жизнь и ослабляет человеческую волю, воспитывая нищих духом мечтателей о потустороннем, презренных трусов, не выносящих ни собственного, ни чужого страдания. «Да ведь это, – говорит Достоевский,

– самая страшная ложь, самая возмутительная клевета на христианство. Как же оно обесценивает жизнь, когда оно устами одного христианнейшего христианина называет его даром прекрасным, бесценным, когда оно со всей страстностью боролось и борется с самовольным расчетом с жизнью? Христианство-де пассивно, оно не воспитывает героев. Да припомните только христианских мучеников, которые шли не на авось, а на самую вернейшую смерть не только без содрогания, но, может быть, и с святой улыбкой на устах. Припомните всех этих подвижников, всех этих столпников, молчальников, затворников; какими бы глазами мы ни смотрели на них, все равно нельзя не признать в них поразительной мощи духа, с которою, может быть, нельзя сравнить даже удивляющую нас силу духа великих героев древнего и нового мира».

«Христианство, – говорит Ницше, – клеветает на жизнь, прививая человеку сознание виновности и греховности и укрепляя его в мистическом взгляде на жизнь». «Нет, – говорит Достоевский, – не христианство прививает человеку мысль о его греховности: это вековое сознание падшего человека, выразившееся во всех религиях, во всех религиозных культурах». Но это сознание (виновности) греховности, по крайней мере в христианстве, нисколько не ослабляет радости и светлого взгляда на жизнь; недаром оно так глубоко не сочувствует новейшему пессимизму.

Достоевский особенно дорожил этою мыслию. Маркел, брат старца Зосимы, перед смертью весь проникся идеею общей человеческой виновности и в то же время был охвачен чувством какой-то особенной, восторженной жизнерадостности. «Всякий из нас перед всеми виноват, – говорил он. – Не знаю, как истолковать это, но чувствую, что это так, до мученья. Пусть я грешен перед всеми, да за это и меня все простят (когда сознают свою виновность): вот и рай. Жизнь-то, жизнь перед нами какая, веселая, радостная. Одного дня довольно человеку на земле, чтобы все счастье узнал». «Други мои, – поучал старец Зосима, – просите у бога веселья. Будьте веселы как дети, как птички небесные. И да не смущает вас грех людей в вашем деянии, не бойтесь, что он затрет дело ваше и не даст ему совершиться; не говорите: силен грех, сильно несчастье; бегите сего уныния».

DOSTOEVSKY AND NIETZSCHE

DZASOKHOV G.I.